

Николай Петрович Вагнер

Фанни

Содержание

| | |
|----------|-------|
| I..... | .0004 |
| II..... | .0009 |
| III..... | .0014 |
| IV..... | .0022 |
| V..... | .0030 |

Н. П. Вагнер
ФАННИ

Один большой господин захотел дать большой бал, и притом детский. А детским балом называется такой бал, на который большие привозят маленьких детей, одев их как можно лучше, и всем показывают, какие у них хорошие дети и как хорошо они одеты.

На этот бал пригласили также и маленькую Нину, очень хорошенькую, весёлую девочку. Мать Нины почти целую ночь не спала: всё думала, какое платье сделать Нине и как вообще одеть её, и наконец придумала и порешила. Платье будет белое кисейное, но поперёк юбки и лифа с большими складками *a la grecque* и поперёк коротких рукавов буфами везде пройдут прошивки из кружев, сквозь которые будут проглядывать серые атласные ленты. К этому платью Нина наденет широкий синий пояс, также из ленты, и на рукавах приколет такие же ленты бантами, а в середине каждого банта заблестят коричневые листья с серебряными блёстками. Венок из таких же листьев Нина наденет на голову, а все чёрные волосы её мама сама запле-

тёт в мелкие косы; все они будут подобраны петлями, и от них от всех назад спустятся, целым каскадом, синие ленты. На ножки Нина наденет синие высокие полусапожки с серебряными пуговками. Когда мама придумала весь этот наряд, она от умиления чуть не заплакала. Долго улыбалась она, щурилась, крестилась, наконец зевнула и заснула.

А на другой день она едва могла дожждаться, чтобы отперли магазины, и бранила всех магазинчиков «глупыми, ленивыми сонями».

Наконец магазины были отперты, мама отправилась в один магазин: там за платье, именно такое платье, которое она хотела сделать, запросили с неё страшно дорого.

Она поехала в другой магазин, там запросили ещё дороже. Она объездила чуть не все магазины, и везде просили дорого.

— Торгаши поганые! — бранила она сквозь слёзы магазинчиков, — если бы они знали, как хороша будет моя Нина в этом платье, они, наверно, сделали бы его даром!

Но торгоши никогда ничего не делают даром, и это очень хорошо, потому что они ни-

когда не умрут с голоду. Они очень хорошо понимали, что маме сильно хотелось иметь это платье, а потому просили за него дорого, по крайней мере гораздо дороже, чем стоило самое желание мамы одеть в это платье свою Нину, и вот почему она не заказала им платья. А вспомнила она, что есть в городе швея, простая швея, которая шила на неё с год тому назад.

— Хоть не так хорошо, как в магазине, а всё-таки она сошьёт, — подумала мама. — А на балу я всем буду рассказывать, что платье сделано в самом лучшем магазине. И все магазинчики будут с носом.

И вот послала она к швее очень хорошего лакея, который носил платье, всё обшитое золотыми галунами. Лакей нашёл швею как раз в том месте, где она жила. А она жила выше всех самых больших господ, в самом верхнем этаже, так что выше его были только крыша да трубы; такое помещение называют: *belle-vue*, «хороший вид», потому что из него можно видеть далеко все улицы, крыши, трубы, башни, купола, горы и даже горькую бедность.

Но только большие господа редко поднимаются на это belle-vue, потому что для этого нужно взойти по лестнице в сто тридцать пять ступенек, что тяжело и неприятно, зато они всходят с длинными палками на высокие горы, что гораздо тяжелее, но зато доставляет много удовольствия.

Швея была молоденькая, хорошенькая девушка, и звали её Фанни. Она была слаба и больна, но всё-таки явилась к маме Нины.

— Здравствуйте, моя милая! — сказала мама. — Как вы переменялись! Вы, верно, больны?

— Да, больна, — сказала хорошенькая швея и закашляла. Её румяные и впалые щеки стали ещё румянее, блестящие чёрные глаза ещё блестящее. На лбу выступили жилки, на горле выкатилась шишка, и вся грудь затрепетала.

— Вы полечились бы, — сказала мама и при этом с ужасом подумала: а что если она не возьмёт работы? Но швея взяла работу.

— Вы, пожалуйста, к завтрашнему дню. Если что не так, то завтра можно ещё будет поправить... А что вы возьмёте за работу? Весь

материал будет мой.

Швея запросила как раз половину того, что просили за работу платья в магазинах, но мама всё-таки поторговалась с нею, хотя очень немного, поторговалась, потому что всё-таки это была простая швея, а там были хорошие магазины.

— Вы, пожалуйста, к завтрашнему дню, — упрашивала мама.

— Хорошо, непременно постараюсь, — хотела сказать швея и ничего не сказала, а только кивнула головой, потому что чувствовала, как кашель подступает ей снова к горлу.

— Пожалуйста, сшейте, — попросила её и Нина. — Вы представьте себе, как же я буду на балу без нового, хорошенького платья? Ведь это будет ужасно!

Да, это действительно было бы ужасно, потому что Нина была такая хорошенькая.

И вот швея пошла домой, а так как её belle-vue был очень далеко от того дома, где жили мама и Нина, и притом она шла очень тихо и часто останавливалась, когда душил её кашель, то ей было очень много времени подумать о многом.

И она думала прежде всего о том, что работа была ей очень кстати. Положим, она просрочит один день перед магазином, на который она постоянно шьёт, но в этом магазине ей дадут денег ещё через десять дней, а она уже другой день ничего не ела и в долге ей никто не верил. Да! вся вина в том, что была она больна. Ведь когда она была здорова, то она ух как быстро работала! Потом думала она, что и деньги, которые она получит за платье, хорошие деньги, не то что платят в магазинах. Да ведь этим магазинам нельзя и платить много бедным швеям. Надо подумать, что каждый магазинщик живёт хорошо; да зачем же ему и жить дурно, когда он может жить хорошо? У него есть хорошенькие дочери, которых он любит, а бедных

швей он не любит, хотя бы они и были хорошенькие. Притом и магазин ему стоит дорого. Ведь этот магазин на самой большой улице, по которой ездят все большие господа в маленьких каретах. И в этом магазине все прилавки из красного дерева, такого красивого, и все покупатели там смотрятся в большие зеркала. И много приказчиков и приказчиц, таких красивых и любезных, говорят с покупателями так ласково, с таким чувством. Надо же чем-нибудь жить этим приказчикам и тем столярам, которые делают те красивые прилавки из красного дерева.

И когда, наконец, дошла Фанни до своего дома, т. е. до того дома, в котором жила, потому что этот большой дом был вовсе не её, то она совсем измучилась и задохнулась, но всё-таки дошла, и это хорошо, потому что была как раз половина дороги. Другую же половину ей надо было сделать теперь, поднимаясь на сто тридцать пять ступенек, потому что ходить по ровной дороге гораздо легче, чем идти на лестницу, в особенности тем, у кого болит грудь и сердце сильно бьётся в этой больной груди.

И вот, отдохнув, Фанни начала считать ступени. Она сочла их пятнадцать и поднялась в первый этаж, где жила хозяйка дома. Она чуть-чуть вздохнула и пошла дальше, потому что боялась, как бы дверь перед ней не отворилась и не вышла вдруг её хозяйка, которой она должна за квартиру. Она отсчитала ещё двадцать ступеней и вошла на второй этаж. Но и тут ей нельзя было долго останавливаться, потому что тут жила одна барыня, которой она должна была целых 3 франка за работу, ещё не конченную. «Сегодня же покончу её», порешила Фанни и пошла выше. Но не успела она подняться и на десять ступеней, как наконец кашель одолел её. И, схватив себя за грудь обеими руками, она, спотыкаясь, поднялась ещё на 10 ступеней и тут уже не могла больше удерживать этот надоедливый кашель.

Она остановилась прямо против двери, где прежде жил её Адольф, которого она любила. Он жил тут целый год, и этот год был её, но потом он женился на богатой невесте, потому что нельзя же ему было жениться на какой-нибудь бедной швее. Целый год она жила

так хорошо, счастливо — ведь и это много; другие всю жизнь не были счастливы и говорили: зато мы будем счастливы там, в другой жизни.

Простилась Фанни со своим Адольфом так хорошо.

— Ты не виноват, — сказала она, — в том, что ты бросаешь меня: в этом надо винить твоих родных, воспитание, натуру, всё то, почему, может быть, ты и понравился мне. Ведь ты мог умереть, и мне тогда не на кого было бы жаловаться. Ну! я и теперь не жалею. Ты и теперь для меня умер. Я буду жить с тобой, как с моей мечтой, как с тем Адольфом, который из-за любви ко мне готов был сделать всё хорошее. Будь счастлив и не вспоминай меня потому что воспоминание — глупая и совсем ненужная вещь. Я не эгоистка. Не надо быть эгоисткой.

И она его поцеловала, как мёртвого.

А он плакал и целовал её руки, ноги и всё-таки женился на другой. Зато он никогда и не вспоминал о Фанни. Только она о нём вспоминала очень часто, каждый день, каждый раз, как проходила мимо двери его прежней

квартиры или всходила по той лестнице, по которой он поднимался к ней. Да! она была немножко сумасшедшая, но ведь у ней не было денег, чтобы купить ими себе счастье, и она покупала его своим сумасшествием. Другие и этого не умеют сделать.

И вот поднялась она ещё на 20 ступеней, и потом на 15, и потом на 10, и ещё на 10, и ещё на 10. И тут, на последней ступеньке перед своей дверью, присела она и опустилась головой на грязный пол, потому что и на грязном полу хорошо отдохнуть, когда вся грудь точно изорвана кашлем, и голова кружится, и руки и ноги не двигаются. Прямо над ней было синее небо, которое светило сквозь окно в крыше, и чистый воздух спускался из этого окна на её горячую голову. Только в ушах у неё был постоянный глухой шум, и не могла она хорошенько разобрать: шумели ли постоянным гулом там на улице разные колёса, которые катились по мостовой, или всё это катились в её собственной больной груди большие господа в маленьких каретах.

И она отдохнула, наконец, и вошла к себе в маленькую комнату, в которой стояли стул, стол и кровать, одним словом, в ней было всё, необходимое для человека. Правда, какой-нибудь калмык нашёл бы всё это излишним. Но разве калмык не человек?

В комнате у Фанни был не простой земляной пол, а выстланный гладкими кирпичиками в узор, так что на него было очень приятно смотреть, разумеется, тому, кто не видал ничего лучшего.

Там был дубовый точёный стул с плетёным сиденьем, почти точно такой, какие бывали, хотя и очень давно, у очень больших господ в самых лучших комнатах. И если принять в расчёт ту вышину, на которой жила Фанни, то можно наверное сказать, что цивилизация хотя и медленно, но поднимается.

Войдя в комнатку, Фанни сильно захотелось лечь на её маленькую, жёсткую постель, но отдохнуть было нельзя.

На столе стоял картон, и в этом картоне было старое платье Нины и кисея, вместе с

лентами, кружевами и цветами для нового платья.

Всё это привёз лакей в то самое время, когда Фанни шла к себе домой: хотя у ней с лакеем была одна дорога, но лакей приехал в омнибусе, то есть в такой большой карете, которую зовут «для всех», что вовсе несправедливо, потому что на свете нет ни одной вещи, которая была бы для всех. Даже тот воздух, которым дышат многие в Италии, и тот не для всех. Вот этого воздуха и нужно было для больной груди Фанни, чтобы она хоть немного поправилась, но за такой воздух она должна была бы заплатить очень дорого.

И вот Фанни принялась за кройку. Она развернула футлярчик, в котором были все её инструменты; этот футлярчик Фанни всегда тщательно завёртывала в бумажку, и он был как новенький. В нём были ножницы с фигурными ручками, напёрсток, настоящий серебряный игольник, который блестел, точно сейчас его отполировали, игла для вышиванья, игла для продеванья и ещё разные мелкие вещи.

Этот футлярчик был единственная вещьца

из всех подаренных ей Адольфом. Она продала бы и эту вещицу, но за неё очень мало давали, и притом в нём, в этом футлярчике, были все те инструменты, которыми она добывала себе хлеб насущный. Может быть, потому и самый футлярчик со всеми этими вещами назывался «необходимым», или «несессером». А в больших магазинах, сквозь зеркальные стёкла, можно видеть, как блестят большие, очень красивые футляры с разными щётками, пилочками, банками и баночками для всяких мыл, духов и помад. Эти приборы тоже зовут «необходимыми», разумеется, для тех господ, которые никак не могут без них обойтись.

За платьем было очень много работы, но у Фанни было ещё много времени до поздней ночи. Притом у ней ещё оставался целый большой огарок свечи, следовательно, и освещением она была обеспечена.

И вот она вынула из столика маленький портрет Адольфа и, поставив его на окошко, села перед ним за работу. Ведь хорошо сидеть и с портретом, когда нет того, кто лучше портрета. Стоит только уверить себя, что в этом

портрете всё и будешь доволен. И Фанни до того уверила себя, что даже привыкла разговаривать с портретом, точно перед ней и в самом деле сидел живой Адольф.

— Ну, — говорила она, — друг мой, моя жизнь, завтра твоя Фанни будет пировать. Добудет она купилок и купит картошек, а может быть, и маслица, и немного молочка... Нет! Это уж много!

И она живо вспомнила те три картофелинки, которые она съела третьего дня. Ах, какие они были вкусные, даже без масла! Она дала за них последние два су, последние из тех денег, которые получила за маленький медальон. Этот медальон в виде альбомчика подарил ей Адольф в день рождения. Она два дня не ела, прежде чем решилась заложить этот альбом, а на третий день поплакала над ним и заложила. «Что ж, — подумала она, — ведь волосы, которые лежали в этом альбомчике, я буду так же носить на груди, хоть и в простом мешочке». И она пошла к одному ростовщику, который давал за вещи дороже, чем в закладной конторе (Mont de piete). Правда, он зато и брал дороже за выкуп этих вещей. Она

застала ростовщика за завтраком. В его конторе всё было так чисто прибрано. По стенам висели разные объявления и извещения в рамках красного дерева. Высокая конторка смотрела на всех так храбро, точно батарея, с которой хозяин её стрелял по всем, кто к нему приходил за своими деньгами. Нельзя сказать, чтобы все, в которых он стрелял, были убиты наповал, но многих он ранил очень тяжело. А подле конторки лежали большие счёты — и в этих счётах, вероятно, сидела душа хозяина, потому что без них он никак не мог обойтись, и, вероятно, потому же и звали его г. Считало.

Когда пришла к нему Фанни и подала ему альбомчик, он тщательно осмотрел его, взвесил на весах, потом сосчитал на счётах и предложил ей за него целых 20 франков, что было немного больше половины того, что он стоил...

Фанни не хотелось отдавать его так дёшево, притом через месяц она должна была принести 25 франков или проститься с альбомчиком навсегда. Она взглянула на длинное лицо г. Считало, на его нос крючком и острый под-

бородок, на его волосы, которые свешивались длинными локонами из-под бархатной шапочки; она посмотрела, с каким аппетитом он ел жирный пирожок с луком, и ей так страшно захотелось есть, что она отдала свой дорогой медальончик за 20 франков.

И вот теперь уже почти три дня, как от этих 20 франков ничего не осталось. Но завтра, о, завтра у ней будут опять деньги! И она работала так весело изо всех сил, не замечая, что этих сил было немного.

По временам у ней кружилась голова. «Это от голода, — думала Фанни, пристально вглядываясь в свою худую руку, которой придерживала шитьё. — И зачем это нужно непременно моим рукам, чтобы желудок был сыт? Надо бы было так сделать, чтобы меня вовсе не было, а были бы одни руки и они шили бы на всех и деньги бы брали... Но зачем же им понадобились бы деньги?.. Ах, какие мне всё глупости приходят в голову!..»

А работа всё-таки шла вперёд и притом быстро. Лиф со строчками начал уже выходить как раз по талии маленькой Нины... Фанни шила и любовалась этим лифом. Он,

действительно, был очень хорош. Притом каждому приятно полюбоваться на свою работу. Когда были готовы рукава, Фанни приделала к ним синие банты и даже приколотла к ним коричневые листья с серебряными блёстками... Да! это было удивительно красиво. Так красиво, что Фанни забыла свой голод. Очевидно, платье было лучше всякого кушанья.

Но как только положила она его в сторону, так сейчас ей опять представились те три картофелинки, которые она съела третьего дня. Ах! какие они были вкусные! «Но мне и без еды теперь так хорошо, легко! — думала Фанни. — Так весело, голова не кружится, грудь не болит, я не кашляю. И притом главное дело сделано. Лиф сшит. Теперь надо приняться за юбку».

И она зажгла свечку и принялась за юбку. — Ну, мой дорогой! — сказала она, снова садясь к окну и смотря на портретик. — Твоя Фанни умница. Платье будет к завтрашнему дню кончено, непременно будет кончено, и будет мне пир.

И она шила. Вечер становился темнее, пе-

реходил в ночь. Повсюду на улицах блестели газовые огоньки, они блестели там внизу, точно звёздочки. И гул, постоянный гул, нёсся вверх, в комнату Фанни.

— Ах, как хорошо, весело, — думала она, — какой славный тёплый вечер точно праздник, всё это движется, блестит! Верно, всё это едут сытые люди из тех ресторанов, в которых всё блестят зеркала и золото. И они ели там такой вкусный картофель. Они едут в оперу слушать музыку или смотреть драму. Они, наверное, будут много плакать, и от этих слёз им потом будет ещё лучше и веселее. А мне и так весело, хотя я и голодна и не видала драмы. Говорят, сытым бывает часто тяжело, а мне так легко, легко теперь!.. — И она шила. Полотнище за полотнищем сшивала она. Нашивала ленты и кружева, и юбка с широкими красивыми складками начинала выходить такая пышная, нарядная... Фанни щурилась и любовалась на неё.

IV

Порой казалось, что весь этот гул, который там шумел на улице, глубоко внизу, вдруг поднимался, взлетал наверх и шумел у ней в груди, в ушах, в голове. Ей казалось, что это не гул, а какой-то большой оркестр играет чудную музыку. В этой музыке точно что-то льётся, танцует, вертится, и под такт ей прыгают вокруг Фанни всё огоньки, огоньки, огоньки без конца...

— Ах! я вздремнула, — говорит Фанни. — Но так хорошо танцевать на бале, под хорошую музыку. — И она потягивается и снова шьёт, так быстро, точно машинка, раз, раз, раз, раз... И юбка почти кончена.

И снова поднимается опять та же музыка, и сверкают, кружатся кругом Фанни весёлые огоньки.

— Я опять вздремнула!.. — шепчет Фанни и опять шьёт. Ещё несколько стежков — и всё кончено. Ах! как весело. Легко и весело!

И снова гремит музыка и блестят огоньки. Но Фанни уже ясно видит, что она не спит, что это не может быть во сне. «Какая же я бес-

толковая, — думает она, — я просто на балу, а мне кажется, что я шью платье. Не отличишь иной раз того, что кажется, от того, что есть на самом деле».

И она осматривается. На ней точь-в-точь такое платье, какое она сшила для маленькой Нины. «Вот как это красиво, — думает она, — и никто не узнает, что я сама его сшила».

И она оглядывается. Перед ней много зал, больших зал, все они блестят, горят огнями. А музыка! Она гремит, гремит без конца и так легко, и так хорошо! Так приятно пахнет чем-то сладким, вкусным.

К Фанни подходит толстый, низенький господин, весь рябой. Фрак его точно простёган мелкими клеточками, но это не клеточки, а такие же маленькие ямки, как и на лице его.

— Позвольте, мадемуазель, — говорит господин в ямках, — просить вас на кадрили.

— Ах! Да это вы, г. Напёрсток! Скажите, пожалуйста, я вас не узнала...

— Да! это понятно, — говорит Напёрсток. — Кого часто видишь, к тому приглядишься и забудешь его отличия. Но я вас

очень хорошо знаю...

И они идут по зале и начинают танцевать так легко, хорошо, весело. Музыка гремит. Огни сверкают.

— Я защищаю вас, — говорит Напёрсток, — это моя прямая обязанность; защищаю от укулов, чтобы вам не было больно. И знаете ли, это так приятно защищать других!

— Но согласитесь, г. Напёрсток, — возражает Фанни, — что иногда не мешает, чтобы нам было больно. Иначе мы не будем знать, как больно тем, которых никто не защищает...

— Ах! это вы говорите о чувствительности? Я в этом не знаток. Я солиден, у меня толстая кожа, я должен защищать, и я защищаю. Я думаю, что чувствительность везде вредна. Спросите об этом хоть наших *vis-a-vis*.

Фанни смотрит на пару, которая танцует с ними, и ещё больше удивляется.

— Скажите, пожалуйста, — говорит она, — ведь это моя иголка танцует с игольником!

— Совершенно справедливо, — говорит Напёрсток, — не правда ли, она очень блестяща, ваша иголка? Тонкая, стройная... и такой прямой, острый взгляд. Только с таким взглядом

можно сшить из лоскутков что-нибудь общее. Для этого нужно погружаться в каждую материю, так, чтобы можно было видеть её с обеих сторон.

— Да! но без ниток нельзя ничего сшить, — возражает Фанни.

— Я с вами совершенно согласен. Но нитка — это только материал, факт. Им руководит иголка.

— Я вижу, что вы философ, — говорит Фанни, улыбаясь.

— Я только углубляюсь в самого себя, — возражает любезно Напёрсток, — а потому могу быть надет на ваш хорошенький пальчик. Впрочем, я считаю настоящим философом игольник. Он снаружи совершенно гладок, блестящ, но загляните внутрь — и сколько остроумия посыплется из него! Надо только уметь открыть его.

— Да, но я не люблю скрытных людей.

— Это напрасно, — заметил Напёрсток. — Всё на свете скрывается. Посмотрите на природу, и она скрывается. Без этого нельзя. Что же было бы хорошего, если бы всё всегда было наружу? Взгляните, например, на вашего

соседа: он тоже раскрывается только тогда, когда это необходимо.

Фанни взглянула и увидела, что подле неё танцевали ножницы со вздевальской иголкой.

— Скажите, пожалуйста, — удивилась Фанни, — как они фигурно одеты!

— Да! это по моде. Но я сознаюсь откровенно, я не видел другого такого смелого господина, как эти ножницы. Притом его род очень старинный. Один из его предков был в руках у Парки и постоянно перерезывал нить человеческой жизни.

— Ах! это ужасно, — вскричала Фанни. — Жизнь так хороша, зачем её перерезывать? Мне, например, теперь так хорошо, легко, весело. Зачем же перерезывать мою жизнь?

Напёрсток пожал плечами.

— Это именно самый лучший момент, — сказал он, — для того, чтобы перерезать жизнь. Многие умирают с отчаянья. Что же в том хорошего? Или живут какой-то сомнительной жизнью. Вот хоть бы эта вздевальская иголка. Она, сознаюсь откровенно, очень тупа, то есть ограничена, хотел я сказать. А между тем она думает о себе чрезвычайно

много, держит себя так прямо и подымает кверху свою маленькую головку. Она воображает себе, что она, собственно, она проводит всегда всякие толстые шнурки и широкие те-сёмки. Жить постоянно таким самообольщением я не считаю рациональным; это сомнительная жизнь.

— Напрасно вы так думаете, — возражает Фанни. — Мне кажется, что мы все живём, обманывая себя, одни больше, другие меньше. Мне кажется, что люди, живущие самообольщением, бывают очень счастливы, а счастье — задача жизни.

Напёрсток улыбнулся.

— По-вашему, — сказал он, — жизнь должна быть балом, на котором постоянно гремит музыка?

Но Фанни не слушала его: она почувствовала, что всё вспыхнуло, задрожало у ней в груди. Она увидела, да, она ясно увидела, что в стороне от неё, прямо против ножниц с вздевальнoй иглой, танцевал её Адольф. Да, это был действительно он, её Адольф, в хорошенькой золочёной рамке. Но с кем танцевал он? Фанни вглядывалась долго, пристально и

наконец разглядела, что это была сама она! Не та Фанни, молоденькая, свежая, розовая, чуть не девочка, в платье маленькой Нины, которая танцевала с напёрстком, но Фанни больная, исхудалая, постаревшая до времени, в своём старом, изношенном платье, одним словом, настоящая Фанни...

— Зачем же он танцует с ней? — думает Фанни. — Ведь она такая дурная, нехорошая... Но у ней такое доброе лицо, такие кроткие, любящие глаза. Да! Я понимаю, почему он любит её. Я не буду эгоисткой.

К ним подходят ножницы и, танцуя, перерезывают то, что связывало их.

— Ах! Как это ужасно! — думает Фанни с замираньем сердца и закрывает глаза.

Когда же она открыла их, то увидела, что перед ней, прямо перед ней стоит её Адольф.

— Адольф, мой Адольф, — хочет она сказать и не может. Она только чувствует, как слёзы выступают у ней на глазах, слёзы глубокого, восторженного счастья. Она чувствует, что в груди у ней нет сердца. Там пусто. «Это сердце у него, — думает она, — а в её груди всё так легко, свободно, так хорошо!»

— Адольф! — спрашивает она, — ведь выше, полнее этого счастья не бывает, не может быть?..

Музыка так быстро играет, свечи так весело горят. Адольф обнял её. Они кружатся, несутся, всё выше и выше.

Мимо них летят звуки, порхают огоньки. Вон несут всё такие вкусные блюда. Сколько на них картофеля! Даже смешно! Всё это несут большим господам, которые едут в маленьких каретах. Вон идёт лакей в галунах, и г. Считало ест картофель... Ах, как весело! Выше, выше!

Порхают звуки, мелькают огоньки. Выше, выше!

— Адольф! Мне так хорошо, что даже... больно... Милый мой! Всё кружится, кружится, всё мимо... мимо, Адольф!.. Я задыхаюсь... Га!..

Одно мгновенье промелькнуло, только одно мгновенье, неувловимое, страшное, и все струны оборвались. Замолкла музыка. Погасли огни. Бал кончился.

На другой день хозяйка Фанни пришла к ней. Она поднялась на все 135 ступенек с твёрдой решимостью объявить Фанни, чтобы та съезжала с квартиры на следующей же неделе. Расплатилась бы и съезжала, потому что она, хозяйка, нашла другую жилищу, хорошую, аккуратную и здоровую, от которой ей не будет никаких неприятностей.

И она вошла к Фанни.

— Смотрите, пожалуйста, какая неряха, — проворчала она, — не раздевшись, как есть в платье, так и спит на своём дрянном стуле. Свечка вон вся догорела. Пожалуй, ещё этак она у меня пожару наделает. Нет, просто вон её без рассужденья! — И она подошла к Фанни.

Она полулежала на своём стуле, слегка свесив голову. Исхудалое, осунувшееся лицо её было бледно, жёлто и на полураскрытых

губах замерла горькая улыбка. Тусклые глаза были полуоткрыты. На правой руке был надет напёрсток, а у ног лежала юбка от платья Нины, совсем готовая, и в ней иголка с ниткой.

— Что это, как она странно спит и какая бледная, — подумала хозяйка и тут же сердито и громко закричала:

— M-elle Фанни, m-elle Фанни! Эй! Я вам говорю! — Она даже толкнула её, но Фанни не пошевелинулась.

И тут только хозяйка разглядела, что Фанни не могла откликнуться, что она была мёртвая. Хозяйка испугалась и выбежала вон, но тотчас же оправилась, одумалась и снова вернулась к Фанни. Она осмотрела всё её имущество, перешарила все шкафы, что были в стенах, все ящики, но денег у Фанни нигде не было и все её вещи были — суцая дрянь. Только «несессер» ещё мог чего-нибудь стоить, притом он был такой новенький, и хозяйка собрала всё, что в нём было: ножницы, игольник, даже напёрсток сняла с мёртвого пальчика Фанни, и весь несессер положила к себе в карман, проворчав: «С лихой собаки

хоть шерсти кллок!»

Потом она посмотрела на портрет Адольфа, посмотрела на его рамку и, решив, что она гроша не стоит, тоже опустила портрет вместе с рамкой в карман. В эту рамку вставила она потом портретик другого господина, толстого и усатого, который был вовсе не похож на Адольфа, а портретик Адольфа отдала своему маленькому сынку. Сынок был очень доволен. Он тотчас же нарисовал на лице Адольфа очень замысловатые каракули, а погодя немного даже разорвал портретик, и притом как раз пополам.

Платья маленькой Нины и лент и цветов хозяйка не тронула. Она догадалась, что всё это, должно быть, чужое и что хлопот с этим не оберёшься. И действительно, в 12 часов за всем за этим пришёл всё тот же лакей в золотых галунах, уложил всё в картонку, даже с иголкой, которой шила Фанни, и отнёс куда следовало. И как были рады и Нина и её мама, что платье было кончено и как раз впору. Нина была в нём просто прелесть. Мама от радости чуть не заплакала. Впрочем, она пожалела о Фанни, сказала: «Бедняжка!» Только

денег за шитьё не заплатила. Да и кому же было их платить? Не хозяйке же Фанниной? А родных у Фанни не было, кроме одной старой бабушки, про которую никто ничего не знал, и жила она где-то далеко, в деревне.

Фанни похоронили даром. Правда, её зарыли вместе с другими такими же бедными, как она, в одной общей могиле, но где тесно, там и весело!

А Нина была на балу, и ей тоже было весело. Музыка гремела, огни сверкали. Она смеялась, танцевала, ела вкусные конфеты, сливы, персики, ананасы, а картофель, который подавали за ужином вместе с ростбифом, не ела, потому что она вообще не любила картофеля. И так она была хороша в платьице, которое сшила Фанни, что всё ею восхищались. Даже старые, важные старики вставали из-за карт, чтобы на неё полюбоваться, а один поэт, смотря на неё, пришёл в такой восторг, что тут же написал стихи:

Вокруг тебя всё блестит и сверкает

И музыка громко гремит;

Твоё детское сердце заботы не

знает,
И жизнь тебе радость сулит.
Пусть же она промелькнёт в упо-
енье,
В блеске, восторге и сладостных
снах...
Верь, что цель жизни — есть на-
слаждение:
Одни его ищут в земных оболыце-
нях,
Другие найдут его — там в небе-
сах!

И все хвалили эти стихи. Только многие спорили. Одни говорили, что наслаждение там нельзя сравнивать с наслаждением здесь. Другие говорили, что никакого наслаждения там нет, не было и не будет. Третьи доказывали, что и здесь наслаждение наслаждению рознь. Нельзя же назвать наслаждением какую-нибудь пьяную пирушку в грязном кабаке; нельзя её сравнивать с изящным балом, где всё так хорошо, возвышенно, где всё — поэзия и гармония. Четвёртые соглашались с этим и говорили: доведите же всех до того, чтобы они могли понимать и пользоваться этим наслаждением, всех бедных Фанни, ко-

торые теперь умирают от труда и голода, — и тогда жизнь всех будет одно наслажденье. Наконец, пятые кричали. что этого никогда не может быть, что не припасено ещё столько средств, чтобы доставлять всем Фанни какое-нибудь высшее, изящное наслаждение. При этом все пятые горячились и выходили из себя.

— Мы не хотим, — кричали они, — жертвовать для ваших Фанни ни одной каплей нашего наслажденья!

И мама Нины кричала громче всех:

— Пусть платье на моей Нине стоит ещё дороже, — кричала она, — только бы оно было изящно, чтобы она была хороша в этом платье, восхищала бы всех и вдохновляла поэтов. А! я вижу, чего вы хотите: вы хотите лишить нас самих наслаждений, отнять у нас музыку, поэзию, всё возвышенное, изящное. Вы желали бы весь мир превратить в кабачок с грубыми наслаждениями. И вы думаете, что мы будем счастливы, веселы, довольны? Нет, наше горе будет сильнее, чем горе всех ваших Фанни, потому что наши чувства развитее, восприимчивее.

— Нет! — кричала на это противная сторона, — попробуйте только отказаться от половины ваших наслаждений, и вы увидите, что другую половину вам доставит сознание, что вы каждым вашим шагом не отнимаете чего-нибудь у других или не убиваете кого-нибудь!

— Это вздор! — кричала снова мама Нины, — никто не взвесил ещё наших чувств, никто не рассчитал, насколько нам доставит наслаждения общее благо.

И действительно, этого ещё никто не считал.

Вот что! Поди ты к г-ну Считало и попроси его, чтобы он всё это рассчитал на своих больших счётах. Что ж? Может быть, он это и делает, хотя, разумеется, не без выгоды для себя.